

**Сигизмунд Доминикович  
Кржижановский**

**Странствующее «Странно»**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Сигизмунд Доминикович Кржижановский**

Странствующее «Странно» / Сигизмунд Доминикович Кржижановский – М.:  
Книга по Требованию, 2011. – 42 с.

**ISBN 978-5-4241-3463-0**

"Прозеванным гением" назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. "С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность", - говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют "русским Борхесом", "русским Кафкой", переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского - ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

**ISBN 978-5-4241-3463-0**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011

Сигизмунд Кржижановский  
Странствующее «Странно»

*...Это «странно» – как странника  
прими в свое жилище.  
«Гамлет», д. 1, сц. 5.*

– На циферблате шесть. Ваш поезд в девять?

– В девять тридцать.

– Что ж, постранствуйте. Это так просто: упаковать вещи и перемещаться в пространстве. Вот если бы пространство, упаковав звезды и земли, захотело путешествовать, то вряд ли бы из этого что-нибудь вышло. Путное, разумеется.

Мой собеседник, запахнув халат, подошел, топчя плоские цветы ковра, к подоконнику, и глаза его, шурясь из-под припухлых старческих век, с состраданием оглядели пространство, которому некуда было странствовать.

– Странно, – пробормотал я.

– Вот именно. Все железнодорожные путеводители и приводят в конце концов сюда: в странно. Мало: странствия превратят вас самого, ваше «я», в некое «Странно»; от смены стран вы будете страннеть, хотите вы этого или не хотите; ваши глаза, покотившись по свету, не захотят вернуться назад в старые удобные глазницы; стоит послушаться вокзальных свистков, и гармония сфер навсегда замолчит для вас; стоит растревожить кожу на подошвах ног, и она, раздувшись, превратит вас в существо, которое никогда не возвращается.

Я смотрел на дуговидные морщинки, шевелившиеся вокруг рта старика, и думал: этот раз, вероятно, последний. Когда вернусь, скоро ли это будет, придется искать его не здесь – на кладбище. А там уж какие разговоры. И я решился форсировать тему.

– Учитель, – спросил я, отыскивая зрачками его острые, даже чуть колющие зрачки, – правда ли все то, что говорят о ваших путешествиях? Мне мало простых железнодорожных указателей. Мне бы хотелось увезти с собой хотя бы несколько ваших указующих слов. Мой опыт беден и тускл. Вы же... помогите мне, учитель, – хотя бы маршрутами. Или воспоминаниями: поверьте, то *странно*, в которое превратят меня странствия, как вы сказали, сохранит все ваши слова, не сдвинув в них ни единой буквы.

– Видите ли, – начал старый маг, усаживаясь в истертое кожаное кресло, – с тех пор как я служу в Кооператопе, я забросил и самую мысль о путешествиях: пусть земля ерзает по своей орбите, как ей угодно, – с меня довольно. Вероятно, и счетная костяшка, которую вечно гоняют по стержню, считает себя заправской путешественницей. Но неусидчивость не выводит ее, как известно, за квадрат счетной рамы. Так. Но в юности, разумеется, думалось по-иному: тогда я откликнулся на зовы пространства, хотел дойти до *куда* всех дорог; наступить подошвой на все тайны, обогнать знаки и черточки, облепившие глобус, и ощупать своими собственными глазами всю шершавую кожу планеты.

– Представляю себе. И мне бы хотелось, учитель, получить от вас схему одного из ваших самых длительных и трудных путешествий: такого, которое бы брало землю тысячеверстными кусками, которое бы...

– Боюсь, что первые же мои слова разочаруют вас, мой юный друг: самое длительное и самое трудное мое путешествие передвинуло меня в пространстве всего лишь на семьдесят футов. Виноват, семьдесят один с половиной.

– Вы шутите?

– Нисколько. И мне кажется, что можно менять страны на страны, не прибегая даже к этим на пальцах отсчитанным футам: последние четыре года, мой друг, я, как вы знаете, немногим подвижнее трупа. Моя оконная рама не сдвинулась никуда ни на дюйм. Но та страна, людей и дела которой я, не без любопытства,

наблюдаю, уже не та страна; и мне не нужно было, как вы это хорошо знаете, хлопотать о билетах и визах для того, чтобы превратиться в чужестранца и переехать из Санкт-Петербурга в Ленинград.

Я улыбнулся:

– Пожалуй. Но все же я повторяю свою просьбу: если не вы, то пусть хоть ваша память проявит активность. Рассказ о путешествии с маршрутом в семьдесят футов, думаю, не отнимет много времени.

– Не скажите. Хотя, если мне только удастся разминуться с деталями, может быть, я и успею. Который сейчас?

– Шесть тридцать.

– Так. Может быть, у вас есть еще какие-нибудь дела?

– Нет, учитель. До девяти я могу слушать.

– Хорошо. Тогда садитесь. Нет, не сюда: в кресло. Так. Начну.

# I

– Сейчас, когда вся моя эзотерическая библиотека давно уже выменена на муку и картофель, я не могу с книгой в руках показать вам те сложные формулы и максимы, которые путеводили нами, магами, в годы наших ученических странствий. Но суть в следующем: самое имя Magus от потерявшего букву слова magnus: большой. Мы – люди, почувствовавшие всю тесноту жилпланетных площадей, захотевшие здесь, в малом мире, мира *большого*. Но в *большее* – лишь один путь: через *меньшее*; в возвеличение – сквозь умаление. Гулливер, начавший странствия с Лилипутии, принужден был закончить его в стране Великанов. Правила нашего магического стажа, – поскольку они хотят сделать нас большими среди меньших, великанами среди лилипутов, естественно, стягивают линии наших учебных маршрутов, вводя нас в магизм, то есть в возвеличение, лишь путем трудной и длительной техники умаления.

Рельсы, ожидающие вас, мне всегда напоминали длиннющий в бесконечность свои параллели *знак равенства* (=).

Говоривший сделал двукратный жест.

– Но есть и другой знак. Вот: (скользнув глазами за ладонью, вклинившей в воздух острие угла, я молча кивнул головой и продолжал слушать). Я хорошо помню то сквизистое июньское утро, когда *мой учитель*, это было уже сорок с лишком лет тому назад, призвав меня к себе, начертил именно этот простой, из двух карандашных линий, знак и, перенеся свой указательный палец, прижатый к бумаге влево от знака, на правую его сторону, сказал:

– Вам пора: отсюда – туда.

Я смотрел на линию своего маршрута и молчал.

– Вам, юным, – добавил наставник, – подавай семимильные сапоги. Но терпение: раньше чем позволить шагу из аршинного стать семимильным, надо научить его микромикронности.

Я продолжал молчать. Тогда наставник, отщелкнув двумя поворотами ключа крышку костяной шкатулки, стоявшей у него на столе, показал мне три тщательно обернутых в вату стеклянных пузырька. Под притертыми пробками их внутри всплывшегося стекла мутно мерцали жидкости: желтая, синяя и красная.

– Вот эта тинктура, – перед глазами у меня, вымотавшись из ваты, просверкал рдянюю третий пузырек, – эта тинктура обладает поразительной силой стяжения. Содержимого стекляшки хватило б на то, чтобы тело слона стянуть в комок меньше мушьего тела. И если б это драгоценное вещество добыть в таком количестве, чтобы обрызгать им всю землю, нашу планету легко можно было бы сунуть в одну из тех сеток, в которых дети носят свои крашенные мячи. Но мы с вами начнем с другого флакона.

С этими словами наставник передал мне желтую тинктуру. Только теперь я увидел: поверх билетика, наклепленного на стекло, чернели еле различимые биринки букв.

– Способ употребления, – пояснил мне мастер, – послушайте этих букв, и вы сами станете в рост им. Сегодня же, до заката, тинктура должна сделать свое дело. Счастливого пути.

Взволнованный, колеблясь меж нетерпением и страхом, я вышел на улицу.

Желтые солнечные пятна, ползающие по раскаленной полднем панели, не давали мне забыть о десятке желтых капелек, запрятанных в моем жилетном кармане и ждущих внутри своей стеклянной скорлупы близящегося с каждым моим шагом срока. Я шел будто на спутанных ногах: воображение начало действовать раньше тинктуры; мне казалось – самые шаги мои то странно укорачиваются, то неестественно удлиняются. Сердце под ребрами ворошилось, как испуганная птица в гнезде. Помню, я присел на одну из уличных скамей и позволил своим зрачкам кружить, как им вздумается. Я прошался с пространством: с привычным, в лазурь и зелень раскрашенным, *моим*, пространством. Я смотрел на сотни шагающих мимо ног: размеренно, подымая и опуская ступни, сгибая и разгибая колени, движением, напоминающим стальной аршин, уверенно шагающий, под толчками пальцев приказчика, вдоль мерно разматываемой штуки материи, – они разматывали и мерили свое, привычное пространство, которое видишь и с закрытыми глазами, которое несешь в себе, обжитое и исхоженное, почти застегнутое вместе с телом, под пуговицы твоего пальто, в тебя. Я вслушивался в трение одежд о тело, вглядывался в акварельные пятнышки облачной ряби, тонко выпи-санной по синему фону, ловил каждый звук и призыв, ввившийся в мои ушные завитки, цеплялся глазом за каждый блик и отсвет, запутавшийся в моих ресни-цах. Я прошался с пространством. Мимо глаз, раскачиваясь в сетке, прополз чей-то пестрый мяч. Я поднялся и пошел дальше. Где-то на перекрестке мне сунули в руки газету. Я развернул ее еще влажные листы и, скользя по столбцам, тотчас же заметил крохотные буквы петита, сотнями беззащитных черных телец согнанные в строки. Тотчас же ассоциация дернулась у меня в мозгу, и, скомкав газету, я быстро сунул руку в карман и нащупал там холодный дутыш пузырька. Стоило швырнуть его на камень, наступить подошвой – и...но я этого не сделал. Нет: именно в этот момент нетерпение заслонило страх, и я быстро зашагал к себе, мимо шумов и бликов, будто выдергиваясь из пространства, и единственное, что я видел тогда, с почти галлюцинаторной ясностью, это бледный и длинный палец учителя, который, переступив по ту сторону ломаной черты, за знак неравенства, звал меня: туда.

Вскоре, впрочем, припадок возбуждения утих. На предпоследний этаж дома, в котором снимал я комнату, я подымался с чувством твердой, но холодной решимости. В полутьме подъезда на одном из поворотов узкой лестницы мне пришлось обменяться кивками с моими соседями, жившими надо мной: встречи наши, довольно редкие, всегда происходили здесь, в полумраке лестницы, и потому нам никогда не удавалось друг друга рассмотреть. Я знал только, что астматически дышащий ворох из пледов, кашне и пелерин поверх пелерин, ты-чащий палкой в ступеньки и мучительно шаркающий подошвами о камень, – это заслуженный профессор и чуть ли не академик, возящийся с какими-то ретортами и пипетками, с матрикулами студентов, а также и с женой, которая и в эту встречу, как во все иные, прошуршав мимо меня шелками юбок и наполнив полутьму запахом «Шипра» и терпкой тревогой, – став у верхней площадки, терпеливо ждала спотыкающуюся десятью ступеньками ниже палку.

Я открыл свою дверь и, войдя в комнату, повернул ключ в замке слева направо. Потом, выдернув его из замочной скважины, спрятал в одном из ящиков письменного стола. Солнце было на излете. Вынув часы, я положил их перед собой: шесть тридцать. Теперь пузырек: лупа, растянув черные значки поверх

пузырька, быстро и точно раскрыла их смысл. Стиснув стекло меж пальцев, я осторожно повернул ему пробку: о, как непохож был этот колющий ноздри прогорклый запах на благоухание, оставшееся там, за защелком ключа, над ступеньками лестницы. На миг мне показалось, будто астма старого профессора переползла в мои легкие: мне стало трудно дышать. Подойдя к окну, я толкнул его створами наружу. Тем временем минутная стрелка успела уже сделать дугу в сто восемьдесят градусов. Надо было решаться: я поднес пузырек к губам – через мгновение он был пуст. После этого я еле-еле успел, выполняя волю букв на этикетке, запрятать пустой пузырек в заранее намеченное мною укромное место: у пола, меж стеной и обоями. Тело мое, уже в ту секунду, когда я запикивал стекло в обойную щель, стало вдруг стягиваться и плющиться, как прорванный воздушный пузырь: стены бросились прочь от меня, рыжие половицы под ногами, нелепо разрастаясь, поползли к внезапно раздвинувшемуся горизонту, потолок прынул кверху, а плоский, желто-красный обойный цветок, который я за секунду перед тем, возясь с пузырьком, отогнул, прикрывая пальцами руки, вдруг неестественно ширясь желто-красными разводами, пополз, забирая рост, пестрой кляксой вверх и вверх. Мучительное ощущение заставило меня на минуту зажать веки: когда я раскрыл их, то увидел себя стоящим у входа в довольно широкий стеклянный туннель с неправильно изогнутыми круглыми прозрачными стенами. Прошло несколько времени, пока я понял: это пузырек, очевидно, оброненный моим нечаянным движением в то последнее мгновение, когда я, сейчас лишь жалкое, в пылиночный рост существо, *мог* еще его обронить.

На одном из прозрачных выгибов туннеля я увидел огромные черные знаки; в тот же миг я вспомнил их смысл, и сердце радостно заколотилось во мне. Ведь в надписи на пузырьке ясно говорилось о способе возврата в прежнее тело и в прежнее пространство: стоило лишь отыскать на внутренней плоскости доньшика пузырька-туннеля врезанный в стекло магический знак и прикоснуться к нему, – и немедленно должно произойти обратное превращение.

Слома голову я бросился внутрь стеклянного раструба: звон моих шагов бился о круглые стены. Я добежал до прямой стеклянной стены... «А вдруг, – всполохнулось во мне, – пузырек упал знаком кверху. По скользкой и гладкой стене мне никак не добраться до спасения. И я погибну, на расстоянии дюйма от знака: дюйм преградит мне путь назад в тысячеверстия земли».

Но, по счастью, знак оказался у нижнего края стены. Я быстро отыскал глазами знакомое им сцепление двух линий математического знака *неравенства*. Упав острым науглием книзу, знак расправлял свои врезавшиеся в стекло линии, как птица расправляет крылья, занесенные для полета. «Свобода», – прошептал я, протягивая руку к знаку. «Страх», – услышал я в себе полусекундой позже. Я не повторил этого слова, но оно звучало громче, чем то, первое. Да, мое *назад* было близко, на расстоянии протянутой руки, но я, отвернувшись от него, медленно ступая по гулкому стеклу, направился в безвестное *вперед*. И прежде, и теперь я всегда предпочитал и предпочитаю загадку разгадке, заданное данному, дальний конец алфавита с иском и зетой – элементарным абecedам и абевегам: и в данном случае я не изменил своему обыкновению.

Минуты слишком быстро ползут по циферблату, мой друг, чтобы я мог позволить себе дробное и кропотливое, день за днем, описание моих странствий, начатых с зарею следующего дня. Вспомнив, что от пола к подоконнику моей

комнаты прощелилась, как я это когда-то заметил во время уборки, глубоким, взползающим по стене зигзагом, щель, – я решил использовать ее для подъема на плато подоконника. Мне пришлось затратить довольно много часов, пока я не отыскал ее нижнего ущелистого края и не начал своего двухдневного подъема вверх. Впоследствии, когда я с группой альпинистов брал Клязеновский перевал, они дивились моей тренированности и выносливости: объяснять им, что этим я обязан стеной щели длиной в три фута, я, конечно, не стал. Так или иначе, намучившись на кривых изломах и срывах своего почти отвесного пути, я наконец, к утру третьего дня достиг подоконничного края. Ступив на его плоскую поверхность, покрытую геологическими пластами растрескавшейся белой краски (эти трещинки, которые еще неделю тому назад я слабо ощущал, скользя ладонью по подоконнику, сейчас учили меня рекордным прыжкам), – я чувствовал себя горцем, рассматривающим, стоя меж глыб горного перевала, провалы далей, втягивающих в себя глаз. Створы окна, оставленные прежним «мною» открытыми, давали доступ воздуха, а следовательно, и ветру. Мне очень трудно было бороться с его воздушными ударами: цепляясь за выступы облупившихся пластов краски, прячась за их приподнятыми краями, я прилагал все усилия, чтобы не быть свеянным вместе с уличной пылью, осевшей на подоконник, прочь с его поверхности. Позади был срыв к желтевшему где-то снизу полу моей комнаты, впереди – отвесная кирпичная стена, падающая в бесконечно глубокий провал улицы. Продолжать прятаться по щелям меж краской и деревом на унылой и плоской белой равнине подоконника было бессмысленно и скучно. Надо было решаться: и я решился.

Цепляясь зеленой лапой за наружный край подоконника, вверх по кирпичному русту полз плющ. Подъем по этой зеленой витой лестнице был, конечно, опасен, но я, пользуясь наступившим внезапным безветрием, хватаясь за ворсинчатые торчки живой лестницы, стал смело взбираться вверх. От времени до времени я отдыхал внутри липких складчатых листьев плюща. Но после нескольких дней подъема я заметил, что зеленые площадки моей лестницы все уже и меньше и что самая спираль ее, сделав еще несколько оборотов, обрывается в пустоту. Подсчитав пройденные кирпичные рубцы, я понял, что нахожусь на полпути меж двух подоконников, в трех футах от квартиры старого профессора.

– Дело не так плохо, – сказал я себе, раскачиваясь в изумрудном гамаке, подвешенном на упругом тяжё к стеблю: надо лишь запастись терпением и положить на силу роста, скрытую в плюще, – и моя лестница сама подымет меня вверх.

Так для меня настали дни бездейственного ожидания: днем солнце, озеленив лучи, пробиралось ко мне сквозь нервиры ткани внутрь листа; по ночам, пододвинувшись к рубчатому краю своего обиталища, я мог любоваться россыпью желтых и синих звезд, зажигавшихся где-то внизу, подо мной. Вначале это перемещение звездного неба несколько озадачило меня, но после я понял: тинктура, стянув в пылинку мое сажненное тело, укоротила и радиус моего видения: глаза не могли уже дотянуться до Сириуса и Полярной звезды, но обыкновенные уличные фонари заменяли им, как умели, созвездия.

Часто я старался представить себе то, что ждет меня там, за окном старого профессора и его юной жены. В то время я был так же молод, как и вы, мой друг.

И конечно, не только жизненная сила, скрытая в спиральных плюща, но и иная, таинмая во мне, тянули меня вверх к подоконнику юной профессорши. Иногда, в бессонные ночи, к горьковатому запаху растительных смол примешивался, как мне мнилось, знакомый легкий, но дразнящий «Шипр». И пока плющ, расправляя свои зеленые мышцы, полз на хватких лапах, усиками кверху, мое воображение, обгоняя его, давно уже было там, за окном.

Но когда три фута, спираль за спиралью, были взяты, и я наконец, сделал рискованный прыжок, вскарабкался на край подоконника, о котором так долго мечтал, меня ждал неожиданный удар: стекло и рама окна, тщательно замазанные и оклеенные, преграждали путь. Я забыл, в своем юношеском оптимизме, о том, что дряхлый профессор даже и в июльские жары ходил под полудюжиной пледов и что окна в его квартире почти никогда не открывались.

Раздосадованный и злой, целый день бродил я вдоль тщательно замазанной щели: нигде – ни прохода, ни даже лазейки.

Мне оставалось: или спуститься по извивам плюща назад, или с неиссякающим терпением дожидаться своего *вперед*. И на этот раз я выбрал последнее.

Тем временем июль – я вел аккуратный счет дням, – поначалу довольно прохладный и влажный, становился все суше и жарче. Мучаясь под раскаленным стеклом окна от нарастающего зноя, я вместе с тем радовался ему и молил небо о еще большей жаре: ведь только тропическая температура могла разжать стеклянные створы, преграждавшие мне доступ внутрь.

Томительные дни тянулись друг за другом, разделенные короткими черными прокладками ночи, тоже душной и знойной, – я уже было начал отчаиваться, когда вдруг, как-то поутру, стекло и рама затряслись от ударов изнутри. Колоссальные глыбы замазки падали сверху. Я еле успел юркнуть в узкую пещеру, рытую червем-древоточцем, как что-то грохочущей тенью, сыпля сверху скалы и лапилли, пронеслось надо мной. Выбравшись наружу, я увидел: путь был свободен.

Вначале у меня было чувство человека, забравшегося по веревочной лестнице в дом своей желанной. Вероятно, это романтическое чувство и заставило меня дожидаться ночи: я медленно, шаг за шагом, вздрагивая и припадая к земле при каждом шуме, продвигался к внутреннему краю подоконника. Мне все еще трудно было привыкнуть к своей невидимости, и казалось, что все мои движения заметны обитателям комнаты.

Когда к вечеру я, свесив ноги внутрь одной из подоконничных щелей, сидел, грезя о своем *завтра*, – вдруг меня ударило сильным током воздуха и прикрыло сверху гигантской, весь горизонт застлавшей тенью. Вскочив, я поднял глаза кверху и увидел две рушащихся на меня своими вершинами горы. В ужасе я сжал веки, приготовившись к смерти, но близкий и острый запах «Шипра» заставил веки разжаться снова. Да, это была она: два огромных, таких знакомых мысли и глазу знака неравенства, одетых не в карандашный графит и не в стекло, но в гигантскую массу обнаженного тела, уперлись, вправо и влево от меня, своими остриями в подоконник: это были руки жены профессора.

С минуту я, забыв опасность и риск, двигался навстречу дурманящему и влажному живому жару, пышущему мне навстречу.

– Какая теплая ночь, – прозвенело надо мною.

– Да. А все-таки, душенька, окно лучше бы закрыть, – прошелестело что-то

голосом комкаемой бумаги из глубины комнаты.

– Но ведь воздух так чист: ни пылинки. И я не вижу ничего, чтобы...

– Мало ли, что ты не видишь, душенька, – закомкалась снова бумага, – пролезет что-нибудь этакое, ну, невидимое, бацилла какая-нибудь или ну черт ли его знает что. Ты его не видишь, а оно в тебя втирушей этакой в альвеолы, в кровь, и возись потом...

Окно с грохотом закрылось, отрезая мне обратный путь. Но я уже успел добежать до торчащих мне навстречу ворсин платья юной женщины: обхватив одну из ворсин руками и коленями, я с бьющимся сердцем ждал событий.

– И-и, душенька, брось дуться. Вот принеси-ка мне лучше карты: нет, не там, на этажерке. Левее, левее. Ну-ну, поглядим: ведь вот проклятый пасьянс, никогда не выходит. Хоть ты что: ни так, ни этак. Ну вот: опять этот червонный король все напутал.

– Не выходит, так и бросил бы...

– Нет-нет, стой-погоди, я загадал: говорят, если выйдет, то надо карты под подушку, и все сбуд... гкх... гкх, черт, опять этот червонный дурак вытасовался.

Тем временем я, описав гигантские зигзаги по комнате, был внезапно почти придавлен к краю стола. Лишь ловкий кульбит спас меня от гибели, но все же сила толчка была так велика, что тело мое, сорвавшись с ворсины, за которую оно крепко держалось, больно ударилось о доску стола. Не теряя самообладания, я приподнялся на локте с желтой клеенки стола и увидел: целые стаи огромных бумажных прямоугольников, взлетев с шуршащим птичьим шумом, тотчас же мягко опали своими черными и красными знаками книзу. Я понял происшедшее: женщина смешала карты.

Это могло бы осложнить разговор, но в это время в глубине комнаты, почти из-за пределов моего видения, прозвучал третий голос:

– Барин, а барин, тут к вам с матрикулом. Который в шестой уже раз. Что им сказать: дома вы или нету?

Я слышал, как где-то внизу шумно зашаркали туфли. Вслед им четко и подробно застучали «каблочки», как подумал я, все еще не умея выключить свое мышление из старых схем.

Оставшись, как я полагаю, один, я направился к хаотической куче игральных карт, расшвырненных по столу. Новый, пока еще смутный план начинал возникать в моей голове. Сперва я прошел поперек дамы трэф и высунувшегося из-под нее алого ромба бубновой двойки. Что-то черное поползло мне под подошвы: выйдя из задумчивости, я увидел перед собой две довольно длинные аллеи, протянувшиеся вдаль: деревьев, собственно, не было, но неподвижные черные тени каких-то странно широких у земли и причудливо тонких у коmlя растений легли вдоль снежно-белой поверхности прямоугольного сада. Я было сделал несколько шагов вдоль одной из черных аллей, но тут только заметил, что путь мне дважды пресечен такими же тенями таких же деревьев, невидимо растущих посредине аллей. Я понял: это была десятка пик. Конечно, ее черные пятна бессильны были пергородить мне дорогу, но какое-то странное чувство заставило меня, сойдя с аллей, ворожащих смерть, обойти ее прямоугольный сад стороной, по обочине.

Тут впервые недоброе предчувствие вонзилось десятью черными остриями в меня. Не глядя по сторонам, медленно продолжал я шагать с карты на карту. Вдруг: